

— К 90-летию со дня рождения Бюль-Бюля —

Сулейман РУСТАМ,
народный поэт Азербайджана,
Герой Социалистического Труда.

Поэт Бюль-Бюль...

Пластинка старая в тиши вращается, как шар земной,
И радуюсь я от души, что ты сегодня — вновь со мной...
Бюль-Бюль! О, вещий соловей! Гордится Родина тобой,
Тебе принадлежит, устад, в ее садах цветок любовью,
Забудь ли голос твой, певец, мелодий медленный полет!
Мы замирали не дыша — о, чудо: соловей поет!
Взмывали звуки в вышину и настигали нас везде.
И был ты, мастер, с юных лет — в горенье, поиске, труде.
Себя не мыслил ты вдали от солнечной земли родной...
И без тебя «Сенсиз», увы, не окрылит никто весной.

Внимать я нежным звукам стал,
И ты навек мне другом стал.

В народе черпал силы ты, не в этом ли бессмертья суть!
И зная красное тебе бессонно озаряло путь.

Почетом окружен ты был,
Любовью взят в полон ты был.
Бюль-Бюль! В дыхании твоём —
Потоков мощь мы узнаем.
И песни все, что ты исторг,
Берут в народе свой исток.

Был всюду с нами ты, певец, родную землю обходя.
Звучали трели соловья в потоках солнца и дождя.
И сцена цветником была, когда ты пел, устад, для нас.
И щедрые твои дары мы принимали в этот час.

Ты пел, достигший высоты...
Как рано нас покинул ты!

Несправедливо, что ушел, всех дел заветных не свершив...
Но голос твой не перестал звучать

в сердцах людских — он жив!

Цветут весенние сады, и пусть торопятся года, —
Твоя любовь к народу — свет, что не померкнет никогда!
Поэт мелодии живой — ты предан был своей судьбе,
И мать-земля, тебя обняв, внимает с трепетом тебе!
Всю жизнь творил ты красоту под этой вечной синевой.
Потомки сохраняют в сердцах и голос твой, и образ твой!
Слова, с твоих слетая уст, дышали страстью и огнем...
Ты соловьем явился в мир... Бюль-Бюлем ты остался в нём!

Перевод Александра ХАЛДЕЕВА.

эльчин

«СЕНСИЗ»

...Одно из самых неизгладимых воспоминаний моего детства связано с появлением Бюль-Бюля — Кероглы верхом на Гырате. В тот момент Бюль-Бюль в моем представлении не был никаким артистом, певцом, а был всамделишным Кероглы, взаправдашним героем из легенды. В детстве и отрочестве я читал-перечитывал дастан «Кероглы» по меньшей мере десяток раз, и Бюль-Бюль на сцене виделся мне именно доблестным героем из этого дастана.

И вот однажды меня охватило такое изумление, что я и доныне помню пережитое потрясение. Мы с отцом проходили по книжному пассажи, когда вдруг встретились лицом к лицу с Бюль-Бюлем. Отец мой с Бюль-Бюлем остановились, тепло поздоровались, перекинулись словом, обрывок их разговора мимоходом, повергший меня в изумление, отчетливо помнится мне до сих пор.

— Профессор, — сказал мой отец, — машаллах, вы как всегда, бодры и молоды!

Бюль-Бюль не просто пел, не просто играл на оперной или концертной сцене, он жил на сцене, как живут в настоящей жизни. И на сцене, и в жизни светился все той же доброй, искренней улыбкой, и вот и тогда, в пассаже, губы его тронула незабываемая, одному ему присущая улыбка:

— Нет, Ильяс, — ответил он. — Хочешь не хочешь, а годы берут свое.

Отец полушутя спросил: — А сколько тебе лет, профессор?

— И не спрашивай! — засмеялся Бюль-Бюль.

— А все же?

Я с любопытством глазел на певца снизу вверх.

Бюль-Бюль глянул на отца, на меня и промолвил:

— Я — человек минувшего века!

Эти слова «человек минувшего века» — в моем детском воображении ассоциировались с незапамятной древностью, чуть ли не с эпохой динозавров, и меня совершенно ошарашило, что живой Кероглы, представший моему взору на сцене, оказался «человеком минувшего века».

Я и раньше слышал выражение: когда с отцом мы зашли домой к доктору Исмаилу Хагги Вейсову — надежному другу и стражу здоровья писателей, — хозяин, показывая нам старые, дореволюционные снимки шемахинских интеллигентов (если

не ошибаюсь, среди них был запечатлен и Аббас Сиххат), произнес со вздохом:

— Эх, я — человек минувшего века!..

Но тогда я не удивился словам доктора Вейсова потому, что этот степенный человек с эпически размеренной поступью и речью и впрямь, казалось, был реликтом древних времен...

Но Бюль-Бюль... В моем детском восприятии между живостью и непосредственностью Бюль-Бюля и образом «человека минувшего века» была невообразимая, зияющая пропасть...

Речь идет, примерно, о 1955—1956 годах, и тогда знаменитому певцу было лет под шестьдесят. Через год-другой после этой встречи я вновь увидел Бюль-Бюля в спектакле «Кероглы», приуроченном к его шестидесятилетию, верхом на Гырате, и по мере того, как шестидесятилетний Бюль-Бюль темпераментно пел партию Кероглы, потрясал дамасским мечом и поигрывал булавой, закручивая лихие усы, я лицезрел снова подлинного народного героя, настоящего живого Кероглы, а не «человека минувшего века»...

А эти воспоминания переносят меня в жаркие летние дни пятьдесят девятого года. К тому времени я перешел в десятый класс, и на каникулах отправился в Москву с отцом — участником Второй декады литературы и искусства Азербайджана в Москве, где, раздобыв билет, а где пригласительный, старался не пропустить декадные концерты. Так вот, одно из самых незабываемых впечатлений тех дней у меня связано с нашим заключительным концертом в Большом театре. Мне досталось место в одной из лож, по соседству с пожилой русской женщиной, и помнится, с каким интересом, как говорится, затаив дыхание, слушала она музыку и наблюдала за сценой.

А когда на сцену вышел Бюль-Бюль, моя соседка, вооружившись театральным биноклем, устремила долгий взор на сцену. Потом отставила бинокль и, со вздохом, исполненным грустным сожалением, прошептала:

— Как он постарел...

И в этом горестном шепоте я ощутил затаенную тоску по минувшим, безвозвратно канувшим в прошлое годам (очевидно, началу тридцатых годов), их недостижимости, необратимости, и мне

даже показалось, что глаза этой женщины отуманились слезой...

Затем Бюль-Бюль начал петь гаджибековский романс «Севгили джанан» («Возлюбленная красавица»), и мне навсегда запала в память та благоуханная тишина, которая воцарилась под сводами Большого театра.

По мере пения Бюль-Бюля, казалось, таяла и грустная тень в глазах моей почтенной соседки, романс, с молодой страстью исполняемый Бюль-Бюлем, будто возвращал ей давно минувшие дни, и эти дни вовсе не канули в Лету, нет, голос, дыхание и пыл Бюль-Бюля вновь воодушевляли молодость, любовь, верность.

Потом грянула овация, долгая овация, и Большой театр, выдвигая на своем веку множество триумфов искусства, стал свидетелем еще одного торжества — триумфа азербайджанского искусства. И пожилая москвичка, сидевшая рядом со мной, казалось, вдруг отринувшая бремя годов, стала аплодировать Бюль-Бюлю с молодым энтузиазмом и азартом, и вместо недавнего горько-сожалеющего вздоха с ее уст срывалось восторженное:

— Браво! Брависсимо!..

Два гениальных романа Узеира Гаджибекова — «Возлюбленная» и «Сенсиз» («Без тебя»), мне думается, обозначили новый, второй этап в вокальном творчестве Бюль-Бюля. Этот этап характеризовала еще большая умудренность. Здесь рельефно обнаруживало себя, наряду с художественно-эстетическим пронижновением в жизнь, и философское постижение бытия.

Что ни ночь — грусть и печаль, пытка мне — без тебя...

Газель Низами с редифом «Сенсиз» («Без тебя») — одна из ярчайших жемужин не только в творчестве этого гениального поэта, но только в сокровищнице восточной поэзии, но и во всей мировой любовной лирике.

Однако гаджибековский романс «Сенсиз», особенно в исполнении Бюль-Бюля, в значительной степени стал выражением земных скорбей, бренности человеческого бытия, — «и посещаемый, покидаемый мир, смертную чертой завершаемый мир». Здесь «без тебя» — нечто более значительное, чем тоска по возлюбленной, это трепетный лирический вздох одиночества, осиротелости, бессилья перед неотвратимостью вечной разлуки.

Эта органическая связь между художественно-эстетической плотью романа и его философией особенно чувствовалась, когда «Сенсиз» пел Бюль-Бюль.

Голос Бюль-Бюля столь точно, естественно и одухотворенно выражал психологические переживания лирического героя, что в этом он возвышается над нашим традиционным представлением о влюбленном ашыге, олицетворяет образ, сжигаемый сокровенной болью утраты:

Что ни ночь — грусть и печаль, пытка мне — без тебя...

Мне снова чудится голос Бюль-Бюля, и перед моим взором оживает горькое сентябрьское утро 1961 года...

Я учился на втором курсе филологического факультета университета. В тот день, 26 сентября, я спешил на лекцию, проходя мимо дома по улице Хагани, где жил Бюль-Бюль (ныне на стене этого здания установлена мемориальная доска), во дворе, у парадного подъезда, заметил большое скопление людей и тяжкая, неимоверно тяжкая весть холодом пронзила мое существо: в минувшую ночь скоропостижно скончался Бюль-Бюль.

Было мне тогда лет восемнадцать, и по всем обычным понятиям, я пребывал в возрасте, когда страх смерти кажется совершенно чуждым. Однако эта внезапная новость так потрясла меня, что, отойдя от толпы, я не смог двинуться дальше и долго стоял, как вкопанный, посередине улицы.

Потом побрел в сквер Двадцати шести и, побыв там наедине с собой некоторое время, направился в университет.

Первая двухчасовка — русский язык. Эту дисциплину со вкусом вел ныне покойный доцент Мовсумзаде, очень эрудированный, требовательный к себе, интеллигентный и обходительный человек. Я опоздал к началу занятий: подоспел только к первой перемене. И столкнулся с ним, уже выходящим из аудитории.

— Где вы были, молодой человек? — сердито спросил Мовсумзаде.

Он пристально посмотрел на меня сквозь круглые стекла очков и снова спросил, но уже мягче:

— Что случилось?

— Умер Бюль-Бюль...

— Выдавил я из себя.

Конечно, не надо бы мне столь тяжелую весть сообщать так вот, с бухты-баракты.

Мовсумзаде вздрогнул, коричневая кожаная папка, что он держал под мышкой, упала на пол, и с уст нашего доцента вырвалось невольное отчаянное:

— Вай... И этот «вай» помнится мне до сих пор.

Не знаю, был ли Мовсумзаде лично знаком с Бюль-Бюлем, или не был, но в его восклицании было столько боли, горечи, потрясения, которые может испытать только потерявший очень дорогого человека.

Сотни раз внимал я романсу «Сенсиз» в исполнении Бюль-Бюля, но среди этих исполнений одно вовек не забудется. Тот «Сенсиз» и поныне, при воспоминании о нем, потрясает, в каком бы настроении ни пребывал, охватывает чувством глубокой, сокровенной печали...

В тот скорбный сентябрьский день — 27-го числа — Азербайджан простался с Бюль-Бюлем. Гроб с телом был установлен в зале президиума Академии наук, и самыми невбomosимыми из этих часов и минут прощания были те, когда в записи зазвучал «Сенсиз», исполняемый самим Бюль-Бюлем.

Казалось, что этот «Сенсиз» звучит извечно, казалось, что даже покидавшего наш мир Низами оплакивал этот же гаджибековский «Сенсиз» голосом Бюль-Бюля... И впоследствии при воспоминании об ушедших из жизни родных, дорогих людях мне каждый раз чудился «Сенсиз». Никакие другие слова, никакое искусство не могут выразить, выплакать небытие близких твоему сердцу людей...

Верно, «Сенсиз» этих двух великих художников повествует о бренности жизни, о тоске одиночества, но в то же время чувства в «Сенсиз» передают и возвышенность человеческой природы, говорят об ослепительной художественной вершине, покоренной вдохновенным искусством...

Вспоминаются еще одна встреча и слова, сказанные о Бюль-Бюле. В один из январских дней 1973 года незабвенный Фикрет Амиров пригласил нас к себе домой, и когда в тот вечер речь зашла о Бюль-Бюле, наш композитор, потирая ладонью широкий лоб, задумался, и взор его больших голубых глаз устремился вдаль:

— Мы еще не до конца осознали, кем был Бюль-Бюль для нашей культуры. Осознаем лет через пятьдесят...

Я тогда занес эти слова в свою записную книжку.

Почему он так сказал? Ведь Бюль-Бюль был любим всенародно... Не было никого, кто бы отрицал явление Бюль-Бюля в азербайджанской культуре...

В словах Фикрета Амирова сквозила горечь, и эта горечь была вызвана не только патристическим ревнительством, эта горечь была одновременно и выражением чистого человеческого чувства, осознания невосполнимости потери близкого, родного человека: Бюль-Бюля не было в жизни...

Много написано и много слышано нами о вечности искусства, о бессмертии художника, но вновь и вновь мы повторяем эти слова, очевидно, еще и потому, что в них — единственное утешение...

Рассказывая о последних мгновениях жизни Бюль-Бюля, его жена Адиля ханум Мамедова приводит последние слова, сказанные им врачу:

— Уже поздно, доктор, я ухожу...

Это было в ночь с 25 на 26 сентября 1961 года...

Поколения сменяют друг друга.

А эхо неповторимого голоса переходит от сердца к сердцу...